

**Романов Николай Николаевич  
(1941- 2015)**

Родился в селе Тургенево Чердаклинского района Ульяновской обл. Окончил Казанский госуниверситет, работал в областной газете, комитете по радио и телевидению. Прозаик.

Рассказы

**Кесарево сечение**

Идущие в разные стороны трамваи, как правило, останавливаются друг против друга. В такие минуты я люблю разглядывать лица в другом вагоне. У меня даже есть знакомые в тех трамваях. Например, глазастый, симпатичный мальчик, которого, видимо, бабушка везет в детский садик. Я ему как-то подмигнул, он широко заулыбался, и теперь, всякий раз, завидев меня, тербит бабулю за рукав, что-то ей весело говорит и тычет пальчиком в окно.

Но вот однажды в окне другого вагона появилась дама лет тридцати с хвостиком. Раньше ее я никогда не видел. Не буду тратить слова на описание ее портрета, мое перо может оказаться просто дилетантским. Поверьте, это была, капелька в капельку, вторая «Неизвестная» Крамского, как будто вышедшая из картинной рамы. Ни подмигнуть, ни как-то сгримасничать я ей не посмел. Она глядела на меня большими глазами, опущенными мохнатыми ресницами, и о чем-то думала. Дума на таких лицах всегда высвечивается очень ясно. О чем она думала, я, конечно, не знал. О чем размышлял я, очарованно глядя на нее, она могла догадаться вполне определенно. Каждое утро я ехал после очередной ссоры с женой. Ссоры вспыхивали из-за любого пустяка. Глядя на красивую женщину с большими глазами, я вмиг впадал в сумрачную тоску: зачем мне и моей жене такая скандальная жизнь? И тут же рисовал себе другую жизнь, радужную, умиротворенную. Я почти физически представлял себе и утренний завтрак с этой чудо-незнакомкой, и прогулки по заброшенному парку с беседами о Тютчеве, об «Осени патриарха» Маркеса, вечерний разговор о таинственном взгляде Рафаэлевской «Мадонны», и роскошную постель, ее губы, руки, каштановые ядрышки грудей... Словом, моим фантазиям не было предела. Я, признаться, ждал, да, ждал мгновенья, когда во мне соберутся в один пучок все духовные силы, я выскочу из своего трамвая и птицей перелечу в ее, встану возле нее на колени, и все решится. Потом я стал замечать, что у нее припухают губы, и эта припухлость уже не спадала. Заболела что ли? Раньше я любовался сероватыми веснушками на ее носу. За последнее время они почему-то потемнели и стали крупнее. Отчего бы? И в трамвайном кресле она стала сидеть как-то, не так, всегда откинув-шись к задней стенке. Чтобы утвердиться в своих догадках, я однажды привстал и кинул на нее косой взгляд. Батюшки, да она ж беременная! Как не странно, меня это ни удивило, ни обескуражило, ни напугало. Знаете, я возликовал. Значит, скоро будет

малышка! Ах, как мы будем с ней нянь-каться! Я даже подумал об отце будущего ребенка. Не иначе, какой-нибудь бызун, способный буянить да напиваться до чертиков. Рядом с таким только и остается грустно глядеть на мир. Ну, ничего, сладим.

Потом незнакомка исчезла из трамвая своего маршрута. Наверное, стало уже тяжело передвигаться, выходит, может быть, посидеть возле подъезда на скамеечке. Могли и на сохранение положить, если каждый день в доме куролесит гуляка. Я прямо-таки заболел без своей незнакомки, в свободные дни с утра до вечера мотался в трамвае, в надежде увидеть ее. На конечной остановке всякий раз расплачивался с кондуктором и заметил, что смотрит она на меня, как на помешанного.

Как-то я купил городскую газету. На первой полосе с портретом в черной рамке был опубликован некролог. Это была она. В этот момент я мог получить инсульт или же инфаркт. Потрясение было ужасное. Сообщалось, что скоропостижно скончалась талантливый ученый, кандидат физико-математических наук Александра Ивановна Найденова. Сутки я не выходил из своей квартиры. Поехать на кладбище? Положить на свежую могилу цветы? Это я успею сделать, когда угодно. Нет, мне надо было, во что бы то ни стало, выяснить причину смерти этой женщины. С чего начать? Конечно, с роддома. На роддом я напал сразу. Потрясение мое увеличилось стократно. Оказалось, что Шура (так я называл про себя незнакомку, и вышло, что в детстве, да и после близкие люди так ее и звали) сделали кесарево сечение. Из материнского чрева извлекли малыша-крепыша, которого Шура назвала Сережей. На третью ночь после операции во сне у Шуры Найденовой разошелся шов, и она истекла кровью. Но что поразительно?! Умер и мальчик. В роддоме сказали, что мать и ребенок умерли, по всей вероятности, друг за другом: сначала – Шура, потом – Сережа. Обстоятельства смерти Шуры – вполне банальные. На весь этаж – единственная старенькая медсестра. Накануне Шура сильно волновалась за сынишку, в ее грудях не было молока. Пенсионерка в белом халате успокоила ее, мол, малыш с удовольствием долдонит из соски специальные смеси, и чтобы Шура не напрягала свои нервы, дала ей снотворного. Вместо того, чтобы подсматривать за Шурой, медсестра уснула за своим столиком, а у Шуры в это время при резком повороте разошелся шов, во сне она и ушла на тот свет. А вот с ребенком – загадка. Появился он здоровым, кричащим на все этажи роддома, и вдруг – умер.

Узнал я, что организацией похорон при помощи властей занималась ее подруга Ольга Ивановна Найденова. Сестры что ли? Мне дали адрес Ольги. Вот что она мне поведала:

– Мы с Шурой — детдомовские. Родителей своих не знаем. Нас подкинули в раннем младенчестве. Меня – летом, ее — зимой. В этом вся трагедия. Поясок на одеяльце развязался, и одному Богу известно, сколько времени Шура пролежала голенькой на морозе. Выжила, но застудилась. Об этом долго никто не знал. Бегаем, прыгаем, директриса, наша общая мама Лиза, Елизавета Петровна Рублева, не налюбуется на нас. Мы две

Найденовы учились только на «отлично». Вас интересует – почему Найденовы? Обычно детей подбрасывают с записочкой под пояском. Там указывались фамилия, имя ре-бенка. По этим запискам мама Лиза и регистрировала подкинутых. Однаж-ды лет десяти Наташа Скворцова исчезла. Ее выкрали. Выкрала мать. В суде на-врала сто коробов, почему ее дочь оказалась в детском доме. Ей поверили. А через некоторое время Наташа вернулась к нам. Дочь понадобилась матери, чтобы при дележе богатого дома ей досталось две доли. С тех пор мама Лиза рвет любые адресочки, дает нам новые имена и всем одну и ту же фамилию – Найденовы. Нас в детдоме было пятеро Найденовых. А потом случилась ис-тория с одной девочкой. В седьмом или же восьмом классе она забеременела. Чтобы не испортить жизнь и так обиженному человеку, врачи не решились прервать беременность, девочка родила отличного мальчугана. Вы представ-ляете, в детдоме пошло свое наследство! Мы, девчонки, по очереди остава-лись с мальчиком, а молодая мама ходила в школу. К нам зачастили журна-листы со всего Союза. И везде – накат на Елизавету Петровну. Но ей было не до этого. Над нами строгий надзор стали вести медики, вот тут и выяснилось, что у Шуры после той памятной зимы очень серьезная женская патология, к тому же узкий таз. Врачи сказали, что возможность понести у нее – мизерная, но при стечении благоприятных обстоятельств может и забеременеть, тогда неминуемо кесарево сечение. Во всяком случае, посоветовали держаться по-дальше от мужчин. Мама Лиза возила Шуру к разным московским, ленинг-радским светилам, которые говорили, что возможно хирургическое вмеша-тельство, но за конечный результат не ручались. И Шура, не то, чтобы с этим смирилась, она просто ничего отрицательного в себе не чувствовала. Велико-лепно училась, дважды побеждала на Всесоюзных математических олимпиа-дах. Без экзаменов поступила в университет, стала специалистом по радио-астрономии, занималась наукой в Новосибирском Академгородке. Каждый год приезжала ко мне в отпуск. Спрашиваю ее как-то: «Как дела с мужика-ми?». Она смеется. Появился на горизонте молоденький аспирант, ходу не дает, подхватит на руки и мечется с ней по аллеям, как безумный, того гляди, оба разобьются насмерть. И со смешком говорит: «Такими парнями не бро-саются, придется уступить». «Да ты что, — говорю, — а вдруг...» «А чего вдруг, разрежут пуповину, появится человечек, которого никто и никогда не завернет в пеленки и не отнесет на крыльцо детдома под прикрытием ночи. Жизнь должна продолжаться и продолжаться достойно». Три года Шура не была у меня в гостях. За это время защитила кандидатскую диссертацию, стала работать над докторской. И вот нынешним летом приехала. Беремен-ная. Приехала ко мне родить. Много рассказывала про своего аспиранта. Рас-сказывала взхлеб. Я ей говорю, что она все неимоверно преувеличивает, ко-нечно, поначалу интересно, а потом все становится привычным, а она мне с визгом: «Значит, ты своего Алешку просто не любишь. Каждое прикоснове-ние ко мне Арсения – это распахнутое небо, это море звезд, это не грудь твоя дышит, а вся Земля вместе с Богом! Вот так!» Отвела я Шуру в женскую кон-сультацию, целый консилиум собирался на совет, все в один голос сказали –

только кесарево сечение. Об остальном вы знаете. Прилетали из Новосибирска, хотели гроб увезти туда, но я воспротивилась. Кто там к ней придет на могилу? А здесь я, милая моя подруга Шура Найденова». И Ольга заплакала. Она плакала, считая себя виновной в гибели подруги. Работала Ольга экономистом у крупного олигарха. На предприятии назревал скандал, рабочие собирались митинговать. Первую ночь возле Шуры дежурила дочь Ольги Марина. А на другой день собралась с друзьями в турпоход. Как ни отговаривала ее мать — ушла. Ладно, решила Ольга, подежурю сама. А вечером крутой олигарх закрыл их с бухгалтером на ночь в своем кабинете и сказал, чтобы к утру были готовы все документы, которые нужны были ему для разговора с народом. В эту ночь Шуры не стало. Рассказала мне Ольга Ивановна и о том, какие порядки царят в роддоме, в котором оказалась Шура. Молодые сюда не идут, держатся только пенсионеры, больше по привычке, на выплачиваемые оклады в магазины можно не заглядывать. Если у женщины послеродовое осложнение, дежурьте близкие, родные, семидесятилетняя тетя Паша за всеми не уследит. Простыни принеси свои, одноразовые шприцы — тоже свои, лекарства купи сам, а если редкие, то не сразу и найдешь. Такие Шуре могли понадобиться, олигарх помог, но помог... и загубить человека.

Поговорили мы и о маленьком Сереже. Ольга сказала, что специалисты утверждают, что это чистое совпадение. Я же своим воспаленным умишком думал по-другому. (А вся причина в моих необузданных фантазиях). Не могло ли произойти так, что младенец почувствовал, что его мама умирает. И выходило, что он должен был повторить ее судьбу, судьбу неприкаянного, одинокого человека на земле. Стоит ли?.. Конечно, в свои три дня на белом свете он ни так, ни по-другому рассуждать не мог, но ведь было что-то... Его мама, Александра Найденова, всеми фибрами души хотела, чтобы вырос сын, а потом пошли внуки. Но наступило в России суровое время, и от него, как от девятиглавого Змея Горыныча волнами пошли беды несметные. И коснулись почти каждого честного гражданина в недалеком прошлом великой державы, от которой до сих пор во все стороны летят губительные осколки.

Осенью был в Москве у наших друзей. Оказался у них в соседях доктор наук, работающий в институте неврологии АМН России. Я рассказал ему, как мог, печальную историю Шуры Найденовой. На что он мне ответил: «Возможно, мальчик нес в себе с момента зачатия материнскую патологию, и она так быстро выразилась в летальном исходе. Есть какой-то краеугольный камешек и в ваших фантазиях. Вот растет человек и что, в конце концов, из него получится, ведь никто не знает. Нет, мы видим, что он нормально развивается, подает хорошие надежды, но на его характер, психику, на то, как он впишется в этот мир, могут повлиять сотни социальных и других факторов. И в итоге — в силу вступают духовность или же — бездуховность. Но в вашем случае, когда человеку три дня от роду, между ним и матерью пока еще существует довольно крепкая биологическая связь, они оба отлично помнят все девять месяцев нерасторжимого родства. Вы говорите, что в ночной тишине роддома раздался резкий крик и плач умирающего мальчика. И в этот момент врач и медсестра бросились не к нему, а к матери. Почему? Спросите их об

этом, ничего вразумительного они не скажут. Вот где таится загадка. Но наука, дорогой волжанин, кое-что об этом уже сказала».

... Я побывал на могиле Найденовых. Дул сильный ветер. С его порывами с моих щек слетали слезы, хотя, как мне казалось, я вовсе не плакал. Я напряженно, до рези в глазах, смотрел и смотрел на даты рождения и смерти Сережи Найденова. Всего три дня жизни безгрешного человека на этой грешной и яростной земле...

### **Ванька-индеец**

Известно, деревня без прозвищ не живет. И пристаёт эта уличная кличка к человеку на всю жизнь, хоть фамилию меняй. Но вот с Ванькой Пупковым произошел такой случай. С детских лет звали его Клопом. Ванька Клоп – коротко и ясно. Понятно, что в глаза его звали Иваном, ну а за глаза – просто издевались. Потому что сам он страшно не любил свою кличку. И в отдельные моменты ярился до крайности.

Зная это, ольховские мужики и бабы часто прибегали прямо-таки к недозволенным приемам. К примеру, ходит по Ольховке покупатель со стороны, ищет телочку на племя. А ему говорят:

- У Ваньки Клопа есть хорошая телка.
- А где это?
- Вон шатровый дом с зелеными воротами.

И стучится к нему покупатель:

- Иван Клоп здесь проживает?

И если нарывается на самого Клопа, то становится участником ужасной драмы. Ванька сатанеет в одну секунду, визжит, как недорезанная хрюшка, и мечется по двору в поисках подходящего дрына, которым можно было бы сокрушить обидчика. Покупатель чешет по улице без оглядки, а деревня потешается.

И вот случилось невероятное. Иван сменил свое прозвище. У всей Ольховки как будто память отшибло: напрочь забыт Клоп, стал Иван Пупков Индийцем.

Надо сказать, Ольховка испокон веку славится картошкой. Завершается картофельная кампания, выезжают трактористы зябить последний клин. Два-три агрегата пашут, а вся бригада следом за ними, как грачи на весеннем поле, собирает картошку, которую лемешком так и выворачивает наверх. Пускают мужики вдоль борозды «Беларусь» с тележкой и за каких-то 2-3 часа собирают три тонны отборного картофеля и сдают его в потребкооперацию. Навар получается солидный. И тогда закупает тракторная бригада несколько ящичков водки, не скупится на закуску и всем составом отправляется на дальний полевой стан, чтоб никто не беспокоил.

И вот как-то Ванька Пупков, то бишь Клоп, дорвавшись до дармовщины, явно перебрал. Стоя на коленях, он воздел руки к потолку, под которым тускло светила запыленная лампочка, и воскликнул:

– Братцы, поглядите, какие звезды, небо-то, ну прямо, как в Индии. Давайте выпьем за Индию. Хинди – русси, бхай, бхай!

Эту фразу он, видимо, запомнил с тех пор, когда еще Хрущев ездил в Индию. Очередной тост – и все за Индию.

– Да заткнись ты со своей Индией! – тормознул его Петька Кардан.

– Ах, ты не хочешь выпить за мир между народами? – И с кулаками на Петьку. Пришлось Ваньку связать и отправить под лавку. Оттуда он долго еще провозглашал «Хинди – русси, бхай, бхай!», а потом стал натурально плакать:

– Меня запичкали под скамейку, а сами лопают, налейте хоть сто граммов.

– А ты попроси у Раджа Капура, он тебе, может быть, и черпак плеснет, – потешались над Ванькой мужики.

Когда он захрапел, его развязали, чтоб руки не затекли. А утром он проснулся настоящим Индийцем. И до сих пор живет в глубинной русской деревне Иван Пупков с необычным прозвищем. Многие вновь приезжающие по поводу этой необычности недоумевают: откуда Индиец? А все отсюда же...

## Домовой

Самая старая с нашего порядка бабка Агафья (лет под девяносто!) обладала прекрасной памятью, была заядлой говоруньей, хохотала до слез. Вокруг нее собирались другие старухи. Устраивались они на скамейке у ворот Анисимовых. Бывало, спросят у Агафьиного старика Еремея, где, мол, у тебя супруга-то, а он легонько отмахнется, говоря: «Да, чай, опять ушла заседать в комитет». Про комитет он упоминал, видимо, по образу и подобию известных комбедов 20-х годов.

Была у Агафьи одна особенность, которой в деревне не имел никто: почти после каждого слова она приговаривала «хышь». «Хышь, это помните», — начинала Агафья, и тут уж не зевай, слушай, раскрыв рот, потому что, несмотря на свои годы, любила стараясь вспоминать истории на очень и очень вольные темы. А посему заседать в ее комитет по теплым летним вечерам приходила вся Ольховка. И все объяснимо. Скажем, откуда тебе знать, что было в селе и 60 и 70 лет назад, если ты родился в пору, когда у Агафьи уже праправнуки пошли.

«Хышь, давно это было, – старуха внимательно оглядывала всех своих слушателей и заключала: – хышь, нет среди вас никого, кто бы жил в то время. Ну, да ладно. Крепкие наши парни, хышь, женились тоже на девках ладных, а вот эти ладные девки, то бишь бабы, хышь, любили уж таких замухрышек, что только плюнуть да растереть! Но, видать, было за что любить!.. – И Агафья заливалась звонким смехом. – И вот, хышь, обожала одна молодежка такого огурца-молодца без памяти. Женихались они, когда законный муж отлучался в ночное, а то, хышь, и подальше. Откушать любовного пирога забирались на подловку, чтобы, стало быть, на улице их никто не узрил, хышь.

И вот такой случай, хышь. Слышат они на подловке-то, что на двор хозяин появился, которого, хышь, известно, не ждали. Молодица юрк по лесенке вниз, обнимать да целовать суженого, а тот там, на подловке-то, ухажер ни жив, ни мертв, душа в пятки ушла. Не ведает бедолага, что внизу-то все ладком, ищет места, хышь, чтоб схорониться понадежней. Баба мужу уж щей наливает, а этот в трясучке под боров лезет».

(Боюсь, что сегодня не все знают, что такое подловка и боров. Лучше всего обратиться к словарю В.И. Даля. Так вот, подловка – это искаженное – подволока, чердак, а боров – это дымволок, лежащая дымовая труба, проводная).

Бабка Агафья продолжала: «А боров давным-давно, хышь, весь прогорел, хозяин собирался новый сотворить, да недосуг было. Вот этот боров, потре-воженный ухажером, возьми да развалился, а следом за ним, хышь, и прямая труба от самой крыши рухнула. Чудеса твои, Господи! Тишина стояла, хоть за версту комара слушай, а тут, хышь, такой гром прогремел, что волосы ды-бом. Ладно, матица крепкая была, а то бы, хышь, каюк, но потолочину одну проломил, хышь, и из дыры-то, из дыры-то – сажа, кирпичи, светопрестав-ление, хышь, да и только. У нас в деревне, хышь, ничего не скроешь. Говори-ли мужику, что его красавица, хышь, путается с удальцом. Не верил. В этот раз, хышь, осенило его, что кто-то там наверху сверзил трубу, и кинулся, бы-ло, из избы. Бабенка тут и почувяла, что сейчас ей будет секир-башка, повисла у мужа на ногах – и причитать: «Ваня, милый, не ходи, хышь, домовой это там, нельзя его трогать, хышь, житья не будет, или сгорим дотла!» Пока этот Ванька, хышь, отцеплялся от ревущей бабы, разрушитель-то спрыгнул с под-ловки, да и был таков. Но с тех пор его и стали звать Домовым».

Бабка Агафья оглядывала слушателей, а так как память у нее была отменная, то быстро соображала, что были среди них дальние родственники того Домового, и заключала: «Вот сейчас будете пытаться, хышь, а чьего рода-племени ухажер-то был? А шут его знает, позабыла, хышь».

### **Не та Карла...**

Пассажиров в трамвае первого маршрута было не очень много, так что картина и внутри вагона, и за его пределами никем не заслонялась, для каждого из нас она была, как на ладони. Уже не помню, объявляла ли вагоновожатая остановки, но вот в положенном месте поезд сбавил ход, а затем и замер совсем. Открылись все двери и, кажется, никто не вышел и никто не вошел, кроме одной сухонькой, юркой старушки. Вышла она из первой двери, возле кабины водителя. И вот уже створки дверей медленно поползли, чтобы сомкнуться, как вышедшая старушка мгновенно метнулась назад, в трамвай, и оказалась, несмотря на свой вид состарившейся Дюймовочки, сдавленной в дверной щели. Водитель среагировала в один миг, открыла свою кабину и в сердцах стала отчитывать бабку, которая уже устроилась на сиденье.

– Ты же вышла, – говорила она ей, – зачем назад-то кинулась.

Бабка улыбалась и незлобиво ответила:

– Ой, доченька, не сердись, не той Карле вылезла.

Пассажиры расхохотались. Все поняли, что бабушке надо было выйти на остановке Карла Маркса, но она перепутала Карлов, и вышла на остановке Железной дивизии, ближе к улице Карла Либкнехта

Саксонский табак

На дойку и на водопой коров пригоняли на Святое болото. Свободной от высоких тростников воды в болоте было немного, но и этого пространства вполне хватало, чтобы каждая буренка могла по самое брюхо забраться в избавляющую от всякого гада свежесть. Редкие коровы выходили из болота на зов хозяек.

Вот, глядишь, полезла баба в воду во всей одежде. Подобрать бы ей подол повыше, а то и задрать бы, ан, нет, пастухи лежат на берегу. Правда, старухи не стеснялись. Бабушку мою, с которой мы ходили доить нашу Вечорку, я ограждал от этого срама. В одну секунду с единственной помочи снимешь залатанные штаны, хворостинку в руки и – давай беситься на теплом, прямо-таки парном мелководье. Бабка окрикает: «Не балуй», а соседка тетя Шура уговаривает ее: «Пусть поиграет», а сама певуче этак потягивает: «Коленька, а ты и мою шугни». Как на такое ласковое обращение не откликнуться. Лад-но, выгоняю я на сухое, в общем-то, послушную Вечорку, шугну и соседскую однорожку. Жаль ведь тетю Шуру. Она молодая еще, не желает показывать пастухам чего не надо. Я-то, глупыш еще, видел, когда бабы, побросав на Лу-жайку серпы и пустые котомки, купались голяшом в Круглом озере. Как-то спросил у бабушки – почему боятся бабы пастухов? Ответила она просто: «Да проберут, поди».

Все ясно. Пробрать на языке нашей Ольховки (это я уже усвоил) значит – осмеять: будут мужики зубоскалить, что и титьки-то у тети Шуры кривые, и ляжки, как мотовило у лобогрейки. Но все это мелочи. Расскажу о самом главном, главном и печальном для меня.

Доила бабуля Вечорку подолгу. Понятно, не молодуха, руки, как крюки, — говорила она. На это время я подсаживался к пастухам послушать ихние байки. Ольховская ребятня проходила здесь такую академию, какой вовек нигде не сыщешь. И вот однажды подпасок Витька Кобелев (настоящей его фамилии я до сих пор не знаю, а эта была, конечно, уличная, прозвищная), так вот этот Витька, верзила, мастак на едкое слово (это он рассуждал про кривые титьки), дает мне фуражку, полную свежих яиц, и говорит: «А ну-ка, пострел, сбегай до бабушки Машаги и купи у нее на эти яйца стакан махорки. А я тебе дам пять раз хлопнуть кнутом».

От болота до деревни – рукой подать. Машага живет на самом краешке. Так что труды тут невеликие. А вот хлопнуть Витькиным кнутом – это был предел моих мечтаний. Он был у него сплетен из десятка тонких просмоленных ремней. Вился, как змея. На конце с хлопущей из конского волоса, и кну-товище резное – глаз не оторвать. Бабушка Машага с удовольствием взяла полтора десятка яиц и полный, с горкой стакан махорки высыпала в ту же Витькину фуражку. Неистово мчался я назад. К этому времени пастухи

за-вершили свой нехитрый обед, и подоспело курево. Витька скрутил толстен-ную сигарку, глубоко затянулся ароматным дымком и сказал: «Молодец, Колька, а табачок-то саксонский». Я не понял, что значит саксонский, да и не до этого мне было. Как замороженный, глядел я на Витькин кнут. А он как будто забыл о своем обещании, мучил меня. «А-а, тебе хлопнуть надо, — ска-зал он, выпуская из ноздрей дымок, и, подавая мне сложенный кольцами кнут, добавил: — Гляди, не захлестнись, а то твоя бабка живьем меня про-глотит».

Вот еще чего придумал! Да я с любым кнутом управлюсь! Не зря же я по целым дням тренировался собственным изобретеньем из старой мочальной веревки. Витькин кнут, бывало, взвьется и как будто запоет над головой, а потом, когда резко его подсечешь, раздается такой хлопок, что эхо гулко полетит над камышами и тростниками аж до самого березняка и таким же раскатистым назад вернется. Хлопнув пять раз, я осторожно прошу: «Вить, а можно еще?» — «Ну, давай, давай, только завтра опять пойдешь за табачком». «Конечно».

На другой день он снова вручил мне фуражку со свежими яйцами, и я пу-лей летел к Машаге за махоркой. Снова пастухи смачно потягивали свои самокрутки, похваливая саксонский табак, а я задышался от восторга, хлопая Витькиным кнутом.

Совершенно неожиданно и невообразимо завершились мои счастливые дни. Вечером на дворе меня ждали, именно ждали, мать, отец и тетка Пелагея с заднего порядка. Мать взяла меня за ухо и строго приказала: «Дыхни». Догадка, как иголками, прошила меня, и стало вдруг зябко. Я тяжело выдохнул прямо в лицо матери. «Не пахнет», — сказала мать, глядя на тетку Пелагею. «Заел, заел, зажевал чем-нибудь», — Пелагея как-то забултыхалась из стороны в сторону, широко размахивая руками, словно ловила что-то ускользающее от нее. «Где берешь яйца на табак и с кем куришь? — спросила мать. «Нигде». — «Как нигде?» — «А так! Витька Кобелев на болоте дает». «Так и поверили!» — снова всполошилась Пелагея. «Отец, а ну-ка всыпь ему, чтобы не врал», — и за ухо мама подвела меня к отцу, вооруженному тонким, жестким ремешком от солдатской сумки.

Я не издал ни звука, не уронил ни слезинки. Только от обиды, что секут меня на глазах у лживого доносчика, крепче сжимал зубы. Хитер был подпасок Витька Кобелев. Когда вдоль огородов задней улицы гнали стадо на обе-денную дойку, он спокойно собирал яйца по безлюдным дворам — народ-то весь был в поле. А потом ловко подставил меня, глупыша, под расплату за свое паршивенькое воровство. Так память о саксонском табаке осталась на всю жизнь.

### **Сумка для букваря**

Послевоенные годы — годы моего детства. До мельчайших подробностей помню, как меня собирали в школу. Распороли выдавшую виды отцовскую шинель, и из подкладки сшили мне штаны и куртку с

поясом под самыми мышками, которую мать назвала толстовкой. Чудно я выглядел в этой уни-форме. И крепко боялся, что над пояском под мышками ребята станут поте-шаться. Но только за поясок я зря опасался. Никто на него не обратил внима-ния, зато сумка для букваря стала для меня настоящей обузой. А история этой сумки такая. Пошла мама в соседнюю деревню к родственникам, авось у них кусок материи найдется, потому что все сукно от шинели употребили на другие нужды. Вернее, не учли, что надо выкроить еще и на сумку для букваря.

Кусок материи, вроде рубчика или сатина, у родственников нашелся. У них же мать на швейной машинке и соорудила сумку. Именно – соорудила. По-другому и не скажешь. Цветастая, в аршин шириной, с длинными ушами лямок, она буквально тащила за мной по земле, и бедный букварь колотился в ней, как сирота. Девчонок сумка восхищала своей нарядностью, и от них мне не было никакого покоя.

Особенно жестокими казались мне насмешки самой красивой девчонки Зойки Серовой, в которую я сразу влюбился по уши. Бабы, увидев меня со злосчастной сумкой, всплескивали руками и в один голос твердили: «Батюшки, Колька, сумка-то у тебя, как рубаха у Петрухи». Был у нас в деревне по тем временам странный старик, любивший носить нарядные рубахи.

А ребяташки, так те пытались запихать меня с головой в мою сумку. Правда, я не дался, но вот мокрым речным песком они ее все же под мои горькие слезы замерили. Ведра два, а то и больше вошло в нее песочку. Наполненная песком, сумка стала похожей на мешок. Подняли этот мешок Петьке Воронкову на спину. И он, пошатываясь, пошел по берегу, как портовый грузчик. Вдруг раздался треск – это оборвались лямки. И тут от насмешек и обиды я взвыл. Дома за оборванные лямки мне еще и всыпали ремня, ни чуточки не поверив, что все это проделки ребятни. И тогда я решил избавиться от сумки. Но как? Изорвать ее в клочья? В клочьях будет и спина от ремня. Завернуть в нее камень и кинуть в пруд, потерял, мол. Да, но за такую пропажу под ремнем вполне могу стать зайкой.

Верно говорят – голь на выдумку хитра. Дорога в школу шла по плотине между прудами. На плотине только что поставили телеграфные столбы. И вот я стал отпрапляться в школу пораньше, пока дорога была безлюдной. Букварь запихивал под опушку штанов, а в сумку насыпал немного острых камешков. И об каждый столб неистово колотил моей сумкой. После нескольких таких проходов рядом сумки посветлело, потом появились и прорехи, вроде бы от ветхости. Мать пыталась штопать эти места, но я с еще большей яростью лупцевал сумкой об столбы, так что камешки в ней превращались в пыль, и сама она таяла на глазах. Наконец, я заявил дома, что с такой сумкой в школу больше не пойду, так и букварь потерять можно. Домочадцы, досконально обследовав дырявое сукно, решили, что этой нарядной тряпке, пожалуй, сто лет в обед, и истлела она, лежа в сундуке.

х х х

С университетским дипломом я приехал в деревню к родителям. В нашем доме былолюдно и светло. Вспомнили войну и годы после нее, годы моего детства. И рассказал я историю про сумку для букваря. Мама глядела на меня, и слезинка, то ли радости, то ли печали, медленно катилась у нее по щеке.

### **Змеевик Варварича**

Я почти уверен, что никто в Ольховке не может точно сказать, какое настоящее имя у Варварича. Сверстники, если когда-то и помнили, то, по всей, вероятности, забыли; тому, кто уже родился при нём, и совсем невдомёк, что Варварича можно звать как-то иначе. А начало славному его имени-прозвищу было положено, когда он впервые пошёл в школу. Новая учителька с каждым знакомилась по всем правилам человеческого общения. Спрашивала и записывала в журнал фамилию, имя и отчество. На вопрос «Отчество?» Витька Чугунёнок ответил: «Иваныч». Женька Гвоздок (наш будущий Варварич) мучительно соображал: Ага, у Чугунёнка отец – Иван, значит, Витька – Иваныч». Петька Сухарь сказал: «Захарыч». «Правильно, бегают тут по улице косопузый Захарка, как говорит бабушка, семь баб обрюхатил, значит, и Петяньке в отцы сгодился». А у Женьки нет папаньки. Та же бабушка говорила, что и у него был отец, да черти его где-то замурзали. И вот дошла очередь до Женьки. И чтобы не ударить в грязь лицом, он звонко и гордо на вопрос учительки ответил: «Варварич!» И хотя малышня с учителькой рассмеялись до слёз, Женька не смутился: он что, безродный, что ли? Есть же у него мать Варвара. Учился Варварич из рук вон плохо. Мать с темна и до темна до гибели уламывалась на колхозном поле (время-то было тяжёлое, послевоенное), а бабушка на его учёбу глядела, как на полынь-траву; прожила же она, славу Богу, восемь десятков лет, не зная ни единой закорючки. Так что после четвёртого класса Варварич с небольшим скандалцем оставил школу и завершил своё образование окончательно и навсегда. Но по другой части у него получалось даже лучше, чем у опытных мужиков. Никто в Ольховке не мог ладнее, чем он, сплести корзину. Искусней всех перед жнитвом зубрил серпы. Когда стригли овец – только после его заточки ножницы как будто по воде чиркали. Новоявленный ольховский Левша характера был мягкого, покладистого, нос не задира, помогал кому угодно, плату брал любую, а так как у нас в Ольховке всё переводится на мягкую пахоту, то есть на бутылку, то Варварич со временем стал просыхать всё реже и реже. Жена его Дашка с дочкой Полиной пилили за это пристрастие мастера и денно и ночью, но деревня за него стояла горой. Чувствуя в односельчанах надёжу и опору, Варварич, если его родные бабы в ярости без лестницы на стенку лезли, начал их попросту гонять. И в сельмаге частенько рассказывал публике, как он вчера своих толстобрюхих так напыжил, что они в дверях друг дружку мяли.

Было это, кажется, летом 1972-го. Мы построили новый двор и решили покрыть его шифером. Кто-то нам сказал, что тут самое главное – правильно положить первый ряд листов, иначе к концу кровля таким пропеллером выйдет, что вся Ольховка со смеху поляжет. Чтоб не осрамиться, пригласили на помощь Варварича. Положил он и первый, и второй ряд шифера. Крыша получилась на загляденье. Стали обедать. Не без этого, конечно. Почтальон просунула в воротную щель свежую газету. Развернул я её, а в ней очередное постановление – о борьбе с пьянством и алкоголизмом. «Ну, всё, Варварич, – говорю, – хана нам скоро придёт». – «Не мякни, – спокойно отвечает он, – самогонку будем гнать из всех сил». – «Так арестуют же». – «Дудки, – он вновь спокоен и уверен, – сторожа наймём, на горе поставим». Мысль его была вполне понятна, сторож при милицейском налёте упредит удар. Ну, а каким уж способом он сообщит – тут у Варварича могла быть тыща вариантов.

Жили, не тужили ольховские мужики, но вот накануне самой перестройки приставили к областному рулю нового секретаря Толбина. А к тому времени он своё, видать, уже выпил и так стал других ошарашивать, что у поклонников сивухи пятки загудели. Но Ольховка не сдавалась и, как после вышло на поверку, правильно делала и, в конце концов, сражение выиграла. Не последняя роль в этом принадлежала Варваричу. Его знаменитое выражение «не мякни» крепко утверждало в жизни и прекрасно вдохновляло на тот самый русский благородный риск. В сельмаге после толбинского шквала водка исчезла в мгновение ока. Перешли на бражку, благо каждый в своё время спёр с колхозной фермы флягу литров на 50, что для молока. Пошло, как говорится, молочко от бешеной коровы. Но от него бузы много, а вот до песни дело не доходит. Неувязка получалась. Обманулся Леонид Ильич, сказав: «Будет хлеб – будет и песня». Жили в Ольховке с хлебом, но без песни. Пошли мужички на совет к Варваричу. «Не мякните, – сказал он, – дайте сроку три недели, самогонку будем употреблять, что тебе детская слезинка, а с ног будет сшибать, как оглоблей». И принялся он за воплощение в жизнь невероятно дерзкого проекта. Сделал к бане небольшой пристрой, получилось что-то похожее на чемодан с двойным дном, с каким промышляют тайные люди. Поставил в пристрое самогонный аппарат, собранный с учётом всех основных законов винокурения (ездил на консультацию в райцентр к главному инженеру спиртзавода). И стали мужики по очереди доставлять Варваричу бидоны с бражкой. Запускал он свою установку только по субботам, вместе с топкой бани, чтобы, значит, никаких подозрений, так что и сторож на горе не понадобился. Иногда топили бани и посреди недели, накануне праздников, и в такие дни адская машина работала на полных оборотах. Зажили ребята лучше некуда. На большаках-то Толбин косил головы, как на Кубе сахарный тростник, кажись, мочетом, а до Ольховки разве только на вертолёте благополучно доберёшься. Словом, пей – не хочу. Варварича мужики на руках носили, носили натурально, потому что от субботы до

субботы был он в каждой избе самый желанный гость. И всё бы ничего, но с изобретением Варварича абсолютно чёрные дни наступили для его супруги Дашки. «Докажу в милицию!» – орала она, когда над банной трубой безобидно начинал куриться дымок. – «Доказывай, лет на восемь меня упекут, узнаешь, как одной куковать. А я за народ пойду страдать, за него пострадать незасорно».

Кумекала Дашка так и этак, слушала каждый день радио, глядела телевизор. Про Толбина шумели с утра до вечера, и впрямь, думала, докажи она только про своего Варварича – под горячую руку влепят ему все десять годков да ещё показательный суд устроят, чтоб другим неповадно было пускать два дыма из одной банной трубы. «Что же делать?» – вслух сокрушалась она в сельмаге.

И вот однажды в безлюдном проулке встретил её Витька Рыжий. (Надо сказать, что был он человеком мастеровым, но Варваричу уступал, на что порой и крепко злился). И вытаскивает Рыжий из-под рубахи большое берёзовое полено. «Эту дровину, – сказал, озираясь по сторонам, – я заговорил у бабки Степаниды. Подложи его украдкой от Варварича в бане в печку, и избавишься ты, Дарья Ивановна, ото всех мук, и придёт к тебе настоящее бабье счастье». С этим и скрылся.

Обрадовалась Дашка, еле дождалась субботы. Когда Варварич основательно наладил дело и, хватив первачка, удалился куда-то, Дашка и сунула полено в печку. Здесь надо заметить, что была в разгаре весна 1985 года. К власти в державе пришёл главный перестройщик и с первых шагов ничего умнее не смог придумать, как начать очередную схватку с «зелёным змием» и его обожателями. А в Ольховке события развивались следующим образом. После того как винокурня заработала в установленном режиме, Варварич пошёл по близким приятелям, чтобы пригласить их на воскресник. Необходимо было прокопать канаву метров тридцать от водоразборной колонки до двора, потому что с охлаждением змеевика были некоторые сложности. Летом Варварич протягивал шланг, который мог привести дотошного следователя туда, куда ему и носа совать не положено. Зимой же приходилось тормозиться со снегом, тоже мало удовольствия. Шёл Варварич к своему дому в обнимку с закадычным другом Петькой Дергуновым, чтобы, значит, составить на завтра план работы. Присели они на пригорке, весело поглядывая на дымок над банькой. – Мозголовые мы с тобой люди, Петя, – говорил ласково Варварич, – но чувствует моё сердце, что наступят времена, когда эти перестройщики достанут не только до печёнки, но и до самой селезёнки. А деваться нам будет некуда, доживать-то на белом свете за нас с тобой ни хрена никто не возьмётся. И выходит – главное не мякнуть.

И в этот момент раздался ужасной силы взрыв, земля под дружками аж ёкнула. А картина их буквально поразила. Прежде чем взлететь вверх, баня Варварича, как цветок, за какие-то доли секунды распахнулась, обнажив обычное банное хозяйство и необычную самогонную установку в пристрое. А потом уже всё это (лёгкие детали опережали более тяжёлые) веером летело

в разные стороны над землей и низко по земле. И те железки, которые летели низко (так показалось друзьям), как будто пытались догнать улепётывающую зигзагами, как на поле боя, с безумными глазами Дашку Варварича.

Как Севрюга в гости ездил

Родная Ольховка. Здесь мужики и бабы о своих прозвищах «заботятся» ещё в пору детства. Например, у Витьки Комлякова лет в пять уж очень хорошо получалось словечко «блось». Вот и живёт на белом свете преспокойненько всеми уважаемый Блоська, которому давно за шестьдесят. А вот Васька Парамошкин Севрюгой стал, наверное, лет в двадцать пять. Отслужив положенное в армии, он в Ольховку не вернулся, а ударился в неведомые края (была одно время такая мода) по комсомольской путёвке. Когда его вербовочный срок истёк, появился он в деревне на манер огородного пугала. В штиблетах на высокой микропорке, в узких трубчатых штанах, в гороховом пиджаке, а длинные патлатые волосы смазаны каким-то бриолином. В подпитии всё рассказывал-бахвалился, как в каком-то море-океане ловил севрюгу. Никто в Ольховке такой рыбки видеть не видывал, кушать не кушивал, но Севрюга в лице Васьки Парамошкина прописалась в наших краях навсегда.

Известно, у каждого свой манер, свой характер. Севрюга был и остается ужасным, неисправимым драчуном. Стоит ему пропустить единую каплю – сразу лезет под шкуру. К любому. И достаёт так, что мужикам ничего не остаётся, как дать Севрюге хорошего леца, то есть горяченькую оплеуху. Но Васька, привыкший к побоям, как блудливая овца, не успокаивался и лез напролом. И нередко побеждал. Его обидчик ни с того, ни с сего начинал крутится, как волчок, и орал истошным голосом. А Васька, пускаясь наутёк, грозил всей деревне: «В другой раз будете знать, какие у Севрюги колючие жабры!» Вскоре про эти колючки прознали. Носил он при себе остренькое шильце, сантиметра два, не более, на таком коротком толстом набалдашнике. Получив леца, он незаметно тыкал шильцем в мягкое место противника, так что тот начинал исполнять, как Махмуд Эсамбаев, все танцы мира.

За шильце однажды Севрюгу поколотили крепко, синяки с боков через месяц едва сошли. Но уж после никто его и близко к себе не подпускал со своим орудием. Правда, нездешние под хохот ольховцев иногда хорошо приплясывали. Ну, а местные мужики, зная, что никакая наука Севрюге не впрок, били его легонько, для порядка. Ничего не поделаешь, свой же человек.

Минувшим летом приключилась с Севрюгой история, о которой, кроме его жены Валентины, никто и предположить не мог. Получил Васька от дальнего родственника и друга детства Петьки Салькова письмо. Приглашал друг к себе в город в гости по случаю круглой даты и ещё потому, что стал Петро кандидатом наук. Приглашение было прислано загодя, так что спал и видел Севрюга, как сидит он среди учёного люда и ведет беседу за жизнь. Валентина его всячески отговаривала от поездки: «Вася, дорогой, после первой рюмки тебе эти кандидаты шею свернут. Свои-то мужики тебя

немножко пожимают, но и пожалеют, а там-то кто за тебя, непутевого, заступится». Но Севрюга жену и слушать не хотел, не мог же он упустить такую возможность, чтобы не поговорить с учёными да бизнесменами. Пусть узнают, как несладко живётся Севрюге в забытой Богом и людьми Ольховке, и скажут, почему они ни хрена не хотят с ним считаться. ...С сеном управились, хлеба ещё не подошли. В это время и отправился Севрюга в город. Даже галстук, какой носят военные, на резиночке нацепил. Долго думал, что делать с шильцем. В последний момент всё-таки прихватил с собой. На всякий случай. В хорошо обставленной трёхкомнатной квартире Петра Салькова – кандидата экономических наук – гостей было много. Когда усаживались за накрытые столы, Пётр все представлял гостям Ваську: «Троюродный брат, друг детства, из родной деревни Ольховки». Выпили по рюмке, по второй. Поздравляли Петра и с учёным званием, и с днём рождения, вручали подарки. Словом, всё шло, как нельзя лучше. «Кандидат?» – спросил Васька соседа. «Аспирант», – ответил тот. «Ну, так станешь кандидатом», – сказал Васька. (В этих вещах он разбирался). «Пожалуй», – согласился аспирант. «А что это у тебя волосики-то светленькие, как ленок, а глазки чёрные?» – спросил с ехидцей Севрюга. «Таким уродился», – безобидно ответил аспирант. «Нет, брат, так не бывает. Если светленький, значит, глаза должны быть голубенькие. Ты таким не уродился, а переродился, как и все вы тут». – Чего это там философствуешь? – спросил Севрюгу сидевший за передним столом со своей супругой именинник. – Да вот смотрю я на вас и думаю: хорошо устроились. Сначала с Михайлой Горби перестройку нам подсунули, потом внучок Мальчиша-Кибальчиша цены нам отпустил, как дурного подкованного жеребца растреножил. Вот и лупит он нас по мордам, только зубки в разные стороны летят. – Вася, друг ты мой любезный, что-то тебя не в ту сторону понесло. Брось ты все эти проблемы, давайте выпьем за процветающую Россию! – Пётр очень не хотел, чтобы хороший вечер кто-то по глупости испортил, скомкал. – Выпить я всегда рад. – Васька встал. Оттянул «гаврилу» за резинку. Галстук хлётко стрельнул и выбил из правой руки полный стакан янтарного вина. Хрустальный стакан полетел вдоль столов и упал на высокие груди красивой дамы. – Пардон, – Васька вежливо поклонился в сторону обалдевшей дамы: – Где пьют, там и льют. Так вот, Пётр Северьянович, где это ты видел процветающую Россию? Здесь-то вы, может быть, и процветаете, а вот мы в Ольховке по вашей милости гибнем. Вот ты, новоиспечённый кандидат экономических наук, не ты ли, братец, на своём компьютере подсчитал, что за комбайн наши мужики должны миллионы платить, а за хлебушек, который вот где у нас (Севрюга постукал себя по загривку), вы нам три деревянных даете. А я за эти деревянные не то что плуг, а и сковородник у вас не выкуплю. Да вы его, пожалуй, и не сделаете. Вы ведь всё по схемам, по таблицам. А у нас дед Матвей по наковаленке стук-стук – и сковородник готов.

– Откуда такой умник взялся? – в сердцах сказал сидевший напротив Васьки молодцеватый седовласый мужик в светлом костюме.

– А ты кто такой, тоже кандидат?

– Доктор я!

– Ага, вот ты-то мне и нужен. Страна безнадежно больна. Значит, доктор должен её лечить. А он в реформаторы кинулся. Партию «грушу» или «компот» сколачивает. И вопит на всю Россию: «С колхозами надо кончать». Да я, может, и сам этому колхозу не рад. Но ведь другого-то нет ничего. Вот вы, реформаторы, как инопланетяне, высаживайтесь возле нашей Ольховки, создавайте свой хлебодром, пускайте в ход все ваши лазеры и компьютеры. И если колос вырастет, что тебе ветла, а в кисельных берегах потекут молочные реки, да мы сами с этим колхозом враз покончим. А то в прошлом году дали Мишке Тараторке десять гектаров земли, а у него там такой чертополох вымахал, что малая девчушка, как в лесу, в нём заблудилась, трое суток всей деревней беднягу искали.

– Пётр Северьянович, да откуда на нас этот хам свалился? – возопил доктор.

– Ах, я хам! – в злобе заорал Севрюга и в долю секунды достал через стол за лацканы пиджака этого неизвестно каких наук доктора. – Пусть я свалился. А ты откуда взялся? Не из соседней ли Хвостихи? Покрутил быкам хвосты – и смылся. А я тебя должен кормить? На-ка, выкуси! – Севрюга зорко и придиричиво оглядел накрытые столы. И ему показалось, что среди гостей нет той самой дамы, на грудь которой упал стакан с вином. Только успел он так подумать, как в залу вошла эта красавица в сопровождении милиционеров.

– Так кто у вас тут буянит? Женщина презрительно, без слов, указала пальцем на Севрюгу. До глубины души оскорблённый тем, что его увели в милицию, он устроил в отделении неслыханный скандал. Материл милиционеров на чём свет стоит: и пиявки-то они на народном теле, он же – кормилец страны, а они ему золотые руки выкручивают, да ещё издеваются, разнагишали, оставив в одних семейных трусах. В припадке ярости Севрюга едва не откусил палец одному милиционеру, а другого несколько раз ужалил шильцем в ягодичи, так что тот кубарем валялся по полу. Утром Сальков пришёл выяснить, что случилось с другом и родственником Васькой. Он просил, умолял выпустить Василия. Но капитан был неумолим: «Да что вы! Он тут такое вытворял, что по нему тюрьма плачет. Одного сотрудника укусил, другого на какое-то жало посадил. Через десять суток выпустим». Записали милиционеры домашний телефон Салькова. На том переговоры и закончились. Позвонили ему через три дня: «Приходите, забирайте своего друга». Сдавая с рук на руки Севрюгу, сказали Петру: «Плачется, говорит, скоро хлеб убирать, а у него комбайн не готов. Мы же люди тоже деревенские, понимаем, без мужика-то хлеб погибнет». ...Провожал Пётр Севрюгу на автовокзал и говорит как-то виновато: «Давай хоть в буфет зайдём, по сто граммов пропустим».

– А ты знаешь, где там милиция? – спросил Севрюга.

– Нет, не знаю, – ответил Пётр.

– Вот то-то и оно. А прямо, как заходишь в залу, – тут она, с угла. Попадутся крутые сержанты, продержат пятнадцать суток, и тогда уж меня точно турнут из колхоза, и пойду я фермерский бурьян на Лисьей Гриве выращивать. Так и уехал на трезвяк. А трезвый-то он – курица, как и все мы в России. Я никогда не был в настоящей большой тайге. Но когда мне одиноко и тоскливо, я почему-то очень явственно представляю себе жгуче морозную ночь, и огромное таёжное пространство, занесённое снегами. И каждый кустик, каждое дерево чувствую я совершенно живым, и пугаюсь вместе с ними леденящей мглы и того ощущения, что на сотни вёрст нет ни единой живой души, которая могла бы принести сюда шепотку человеческого тепла.

## Шум

Всё! По твердому убеждению ольховского забияки Васьки Грома, жизнь не просто дала трещину, а раскололась так, что хоть ложись и заживо умирай. Четыре года ему за пахоту на своём «Кире» (так он называл трактор К-700) не заплатили ни копейки. Правда, провиантом для него и его супруги Нюськи, а также коровы Зорьки и многочисленных поросят на подворье снабжали без обиды. Но если сено-солома, фураж и прочий овощ вполне устраивал его мычащих и хрюкающих подопечных, то Грома это бесило до крайности. Круглый год набивать пузо картохой, брюквой, тыквой и каким-то турнепсом... Да так ненароком и сам захрюкаешь. Нет, Васька Гром – он Человек. Ему хотя бы раз в недельку необходимо водочки употребить да с Нюськой поговорить со всей откровенностью. Ведь первой-то не считает его человеком именно она. Росточком Васька – метр с кепкой, а Нюська – царь-баба. Ну и что же? Ведь понравился он ей лет тридцать назад за Ольховкой в репейном овражке. Сам не раз слышал, как товарки подтрунивали над Нюськой: «Когда смеркнётся, Гром-то по тебе пешком, что ли, ходит?» А Нюська этак лукаво говорит насмешнице: «Давай поменяемся мужиками на одну только ночку, вот и узнаешь, пешим он ходит или конным». Как это понимать? Гордится, ведьма, своим Громом, но стоит Ваське пропустить напёрсток... Ох, не след на эту тему и каляк заводить. Всю жизнь пытается Васька победить Нюську в единоборстве, но из каждого сражения выходит с большими потерями. Дважды лежал в райбольнице с проломом черепашки, а сломанным ребрам он и счёт потерял. Говорят, что Бог бабу из мужицкого ребра сотворил. А вдруг из ребра-то, повреждённого при лазании по деревьям да скалам?.. Так разве из хреновского материала хороший человек получится? Ни за что на свете! Вот и Нюська Громова – чистый продукт такой ситуации, несмотря на то, что сущая Королева! Выйдет она из калитки, а Васька прыг-прыг на костылях к щёлке ворот (было и такое – ноги ему перешибала дрыном) – и глядит – не наглядится на свою зазнобу. Вот тридцать лет и прокантовался Васька Гром рядом с любимой обидчицей. Ведь за то, что из каждой рукопашной с Нюськой он выходил, как ошипанный петух, его в насмешку и прозвали Громом. Но всё это по сравнению с нынешней российской разрухой – пустьяк, считает

Васька. Была у него в жизни железная отрада «Кир». Холил и ласкал он его, как малого дитя, прислушивался к рокоту, как врач на медосмотре, никогда не пускал в напряг, а пашенку делал такую, что за плугом-то как будто не земля была, а водица. Пятнадцать лет трудились они с «Киром» на родимом полюшке. За последние годы стал сдавать его золотой помощник, надо бы подремонтировать, да не на что и нечем. Прошлой осенью еле дотянули до дому. У самого палисадника отвалилось переднее колесо, трактор завалился набок и клюнул радиатором в грязь. Всю зиму ходил Гром к властям-акционерам. Бесполезно. А тут услышал новость, от которой Васькина душа рухнула, как спиленный дуб. Сказали, что землю будут продавать. Так вот почему не нужен этим ООО Васькин «Кир». И Гром запил. Плакал, но к Нюське не пристаивал, а посему был вполне цел. Пришла весна. Под «Киром» выросла бледная трава. Другая техника в ООО была не лучше «Кира». Из многих тысяч гектаров всковыряли ну, может быть, третью часть, через пень-колоду кое-что посеяли. Из весны солнышко перекаатилось в лето, да так стало жарить, что спасу нет. В Америке, сообщали, наводнения от ливней, люди гибнут, а в Ольховке ни капли дождя. К тому времени все мыслимые и немыслимые ресурсы для питья у Грома иссякли. Стал Васька думать. Отборного зерна у него – сусеки ломаются. Если затеять самогонку, Нюська непременно ацетончику плеснет. Было такое. Значит, надо ударяться в рынок. Пошёл к бабке Степаниде. «Пшеничка нужна?» «Ой, сынок, ещё как нужна, по недороду-то нам, старикам, и куля не дадут». «Продаю недорого, за мешок – литруху». «Согласна, Васенька, согласна!» – возликовала старуха. Уехала Нюська к дочери в город. Гром мешок на таратайку – и задами к Степаниде. После трёх причастий окреп телом и духом, подался к другой старухе, к Васене. Та, тоже жизнью битая, на два мешка решилась. И снова загремела таратайка по задам. Пять непочатых бутылок – запас неплохой, но надолго ли хватит? А вернётся Нюська, тогда и рюмки не урвёшь. По накатанной дорожке Васька ещё пять мешков пшеницы спустил. Ямы в сусеках заровнял, но убыток был всё-таки заметен. И Нюська его усекла мгновенно. Ну, да ладно, она вроде стала понимать Васькину тоскующую душу. Но он крепко ошибся. Отполоскала она его так, что Гром целую неделю головешкой валялся в снях. Правда, когда Нюська уходила на ферму, Васька выползал в огород, раскапывал заповедный клад, выпивал прямо из горлышка полбутыля и снова – в сени на шубняк. В одно из более-менее трезвых «окошек» Нюська прочитала Грому лекцию. Главный смысл был в том, что пшеницу пропивать нельзя. Свой «Кир» Гром уже никогда не заведет. В поле всё сгорело, значит, заколи он хоть двух-трёх поросят, скототив копейку, хлеба ему никто не продаст. По радио Нюська слыхала, что какой-то учёный из Воронежа утверждает, что и в следующем году у них будет засуха. Так что могут они с Громом насидеться голодными. «Позволь допить запасы – и завязываю». «Допивай». Однажды, крепко наподдававшись, ходил Гром к новым властям права качать. Относительно земли. Выяснил он, что три «О» расшифровываются так: «общество с ограниченной ответственностью». Молодцы, ребята! Даже и

отвечать ни за что не хотят. А карманы набивать – губа не дура. Крутые хозяева, не будь дурны, из райцентра милицию вызвали. Пленен был Васька по неизвестной ему статье – за оскорбление личности. Интересно получается. Они, значит, – разорители и грабители – личности, а Васька, вечный труженик, выходит, дерьмо? Приехала Нюська, каким-то путём высвободила Ваську из заточения. Остатки от пшеничного рынка Васька допил молча. Отрезвел, но от тоски не избавился. Как бы она сейчас пошла-покатилась, родимая «Гуляй, душа» с бородатым певцом на этикетке, но все шланги были перекрыты.

Полез Гром в погреб за холодным молочком. А там на полках стояли банки с ягодными вареньями. Ягода в них вся лесная. Нюська смородину, крыжовник с огорода не любит. Она большая искусница собирать лесную ягоду – малину, ежевику, клубнику, землянику. Говорит, что всё, что из леса – лечебное. А тут рядом и хмель жгутами свит. Нюська им подушку набивает. Шум, говорит, в голове от этого сбавляется. «А вот нам как раз шумок и нужен», – рассуждал Гром, затевая на вареньях бражку. Хмель он отварил, несколько банок варенья опрокинул в старую, стоявшую на погребнице, стиральную машину, набросив на агрегат рваную фуфайку. И стал терпеливо ждать, пока ягода не превратится в вино. Через десять дней снял пробу. Напиток богов! Приходит Нюська с фермы – Васька весёлый. Проверила сусеки – всё на месте. Начались пытки. Как партизан на допросе, Гром не проронил ни слова. В недоумении баба отступилась. А у Васьки – нескончаемый праздник. В стиралке-то ведра четыре было наверняка. До белых мух хватит. Но вот нежданно-негаданно обнаружила Нюська пропажу варенья. И уж такое её зло и обида взяли, что и слов не подобрать. Разоблачённому Грому она задала вопрос «Ну, и как?» «Немного шумит», – ответил Васька, указывая пальчиком на свою головку. Мощно размахнувшись, Нюська врезала ему в ухо. Гром покатился по избе, как пустое ржавое ведро. Думал, что будут добивать. Ан, нет, задали второй вопрос: «А сейчас шумит?» «Шумит! Шумит, Нюсенька! – завопил Гром. «Верю, что правду говоришь», – заключила баба и больше не трогала. А теперь – продолжение, по логике вещей совершенно не связанное с вышесказанным. Живёт в Ольховке брехун и разносчик всяческих новостей и слухов Генька Баляська. И денно, и ночью шастает он по улицам, сообщая всякому встречному удивительные истории. То говорит, что где-то запустили на Луну мужика и бабу, чтобы они там произвели лунного человечка; то всем шепчет, что Манька и Володька Степновы разошлись из-за того, что якобы Манька согрешила с каким-то залётным предпринимателем, а Володька ей в отместку подлил в банное мытьё ртути из градусника, и у Маньки все волосы на голове выпали. Забулдыга Мишка Скребок, поверив в это, поймал Маньку у магазина, сорвал с неё платок и был всей деревней пристыжен: у бабы под платком была копна ухоженных смоляных волос. Зашёл Баляська к соседке Грома, глуховатой Марфе. «А чой-то у Громовых вчера шумели? – спрашивает старуха. (В тот вечер Нюська рассчитывалась с Васькой за варенья из лесных ягод). «Да неужто ты слышала?! – изумился

Баляська. «Дак как тут не услышишь». «Никаких баталий у Громовых не было, это у Васьки в голове шумело», – утвердительно сказал Генька. «Дак а где ещё, вестимо, в голове, – продолжала, не внимая Баляске, Марфа. – От шума в голове всё и случается. Ну, ладно, вздула Нюська Грому бока. На этом и шабаш. А вот когда там, – показала Марфа скрюченным пальцем в небо, – большие мужики-то напарились на полке, да, поди, угорели, и уж такой шум пошёл у них в головушках, что не приведи Господи. И такого наворочали, что и внуки наши, чай, не уразумеют, откуда, что свалилось на державу. А всё проще пареной репы – умопомрачение от шума в черепах пошло».

Брёл Баляська домой и мучительно размышлял. Он считал себя человеком начитанным и прикидывал так: «Существует на свете телепатия. Глухая старуха вполне могла от избитого Васьки Грома получить сигналы о спасении. Но как она услышала за тысячи километров шум в черепах тех самых троих мужиков в Беловежской Пуще? И ведь какая хитрая ведьма. Говорит о банном полке, а показывает в небо. Вот и пойми её, глухую тетерю. А может, Марфа вроде Ванги, и когда там, в первопрестольной шум в головах кремлёвских мужиков сливается в один большой шум и его волна катится по всей России, то Марфа и ловит этот треск, как локатор. А мы, недотепы, ничего не слышим. А надо бы... Схожу завтра к Марфе, потолкуем в подробностях, может быть, от неё, слухачки, польза для всей Расеи будет».

### **В деревне у матери**

Весь небольшой экспериментальный завод звал Николая Гаранькова только Миколой, и не иначе. Шло лёгкое имя к его внешности, и к характеру. Слесарь, не с самым высоким разрядом, он с любой железкой творил чудеса. Многие к Миколу обращались за советом, и он, вместо того, чтобы подсказать (другие и на это скупались), бросал своё дело и, бывало по целой смене пыхтел у чужого верстака, увлекался, как малое дитя, сооружающее домик из песка, забывая обо всём на свете, смешно помогая себе при этом кончиком языка. Иногда и у него не здорово получалось, и тогда, как бы извиняясь и недоумевая, Микола только пожимал плечами и улыбался в сторону. Ничего этого за собой он не замечал, но зато быстро заметила жена Вика-Виктория. За все эти улыбки и пожимания она не раз и не два брала его в крепкий оборот. «Растяпа!» – ярилась супруга, судорожно пересчитывая тощенькую пачку денег, с которой он приходил домой в конце каждого месяца, Чужоум проклятый, работай на дружков, напайвай их, а мы с Тонькой голые будем ходить!» Действительно, в получку ему причиталось, как правило, меньше всех, но в полном соответствии с разрядом и с закрытыми, табелями. Если же он возвращался домой навеселе и с улыбкой, сильнее обычной, то Вика-Виктория, как вихрь начинала метаться по комнатам. «Нализался и рот шире варежки! получил с гулькин нос и все пролопал, а семья – живи как хочешь.»

Однажды Микола твёрдо и ясно возразил на все её цитаты: «Ничего не пропито, можешь проверить. А выпил – так то угостили ребята». И Вика-Виктория слетала в бухгалтерию и проверила. Вышло, что Микола на сей раз оказался прав, но жена навела ревизию аж за целый год, и концы с концами не сошлись. И попробуй ей докажи, что недосчитанное в редких случаях уходило на выпивку, чаще всего эти несчастные пятёрки; десятки Микола употреблял в дело, иногда на подарки, которые дарил жене и дочери к праздникам, в дни рождения. Но всё доброе, как волной, захлестнуло и смыло. И Вика-Виктория уцепилась за самое больное для Миколы. Уцепилась она за его мать, которой он, якобы тайком от семьи высылал по красненькой, а то и по четвертной. С тех пор неотторжимая обида поселилась в душе Миколы, и он не знал, как с этой обидой совладать. Будь жена тут права хоть на мизинец, и тогда бы жизнь стала более или менее сносной. Но о каких деньгах могла быть речь, если он, Микола, даже не единого письма матери не послал. И обида начинала расти на самого себя. И когда Вика-Виктория кипятилась, вспоминая в подробностях приезд свекрови в её дом, на Миколу такая тяжесть навалилась, словно он нёс в гору мельничный жернов. Да, мать приезжала к нему как-то. Переступив порог, перекрестилась, тут же присела на подставку для обуви. Микола засуетился, стал приглашать её вперёд.

– Ты что же это, сынок, – мать глубоко вздохнула, – совсем про меня забыл. Не пишешь, не едешь. Копейку бы на крайний случай к рождеству прислал. В прихожей осторожно появилась Вика-Виктория.

– Здравствуй, Викторина, – мать, сидя на подставки для обуви, поклонилась ей низко. – Жена не едет, так ты не гневись, я ведь не её, а тебя под сердцем носила, А твоё сердечко, видать, зачерствело. Приехал бы, поглядел, как я живу. Избёнку помог бы подлатать, а то уж крыша просела, как мёрзлый гребешок у петуха. Ладно сосед Михайло, дай ему бог здоровья, из жердочки подмогу сделал. Вот так-то, сынок. Говорят, у меня внучка есть, где она?

– Во дворе бегают, – ответил Микола, – да ты, поешь, чайку попей, поговорим...

– Нет уж, пойду я милые. В церковь поспешаю я, Колинька, отца твое помянуть, мянинник он нынче. Прощайте, живите с миром. Перекрестилась и ушла.

Разор со стороны Вики тогда был превеликий. Как только она не клеймила Миколину мать! И колдунья-то она набожная, и капустой от неё пахнет... «Поджала губки. Не гневись, я её под сердцем не носила... Ишь, паинька! И ты такой же. Всё вроде растяпы, а сам себе на уме с горошком. Ну, так что же, получил совет – собирайся, поезжай. Ньюрку свою там полаешь. Ты ведь тихим сапом, а к чужой юбке так и норовишь приклеиться». Ничто на пустом месте не возникает, не рождается. Когда Микола задумал жениться на Виктории, написал он матери письмо. Письмо, как понял после, дурацкое и пакостное. Хотел повиниться перед матерью, перед Ньюрой Боровковой за измену, а наплёл чёрт знает что. Подыскал, мол, быструю да

благоразумную, не курит, не пьёт (мать, бывало всё говорила, что окрутит его, тихоню, какая-нибудь гулящая). Вознёс он тогда Викторию до небес, а Ньюру одним махом охулил. Придумал, что и брюхатая-то она была от Степана Куранкова, да ослобонилась по-тайности; на сеновал с ним, Миколой, ходила спать, как заправская баба, самосад курила. В ответном письме, видимо, обескураженная и растерянная, мать написала коротко: «Бог тебе судья, Колюшка. Чует моё сердце, напоили тебя каким-то зельем. Поступай, как знаешь, но про Ньюру ещё где такое не скажи, девушка она честная, без худой славы». Ночевал Микола у Виктории в общежитии, нашла она у него в кармане письмо матери, прочитала, но молчала обо всём до поры до времени.

Редко снилась Миколу мать, стала чаще. Значит, больше думаю о ней, рассуждал Микола, Но снилась она ему совсем не так, как бывает: лица страшные, небылицы всякие. Нет, он видел её в тех случаях жизни, которые были с ней на самом деле, о чём он знал из её же рассказов и слышал от соседей.

Особенно тягостно нёс Микола душу свою в последней командировке, в одном уральском городке, куда их троих посылали монтировать оборудование, изготовленное на экспериментальном заводе. Жилось вроде бы не плохо. Кроме денег, выданных дома, местный завод им подкинул какие-то премиальные, чтобы, видимо, побыстрее управлялись с делом. Ребята работали на совесть, по вечерам в общежитии иногда выпивали понемногу, играли в картишки. Микола не хмелел, а в карты путался, болела голова, Сенька Зверев всё над ним подтрунивал: – «Микола по бабе соскучился. Ну, ничего, завтра на танцы пойдём. Но Миколу было не до шуток. Страх какой-то обуревал, как далёком детстве, когда заблудился в лесу. Дом их стоял крайний, у оврага, за которым начинался лес. Вдоль лесных опушек вилась не очень торная дорога, и вела она на кладбище, куда Микола за войну ходил не раз. Эти медленные походы, всегда за повозкой с крестом и гробом под ладное тихое пение старушек, для Миколы были большим праздником. Отнесут на кладбище, как говорила мать, на вечное житьё, тётку Агафью, или дядьку Порфирия, и нате – праздник. Только вчера Микола нашёл в подполье сморщенную, с длинным бледным стеблем картофелину, которую, порезав на малюсенькие ломтики, ему поджаривала мать. Получилось что-то сладковато-горькое и тошнотворное. А сегодня вот закопали в глубокую яму дядьку Порфирия, вернулись в дом Исковых – и откуда что взялось. Ребятишек посадили за широкий стол, налили щей, потом подали кашу с тыквой. За всю жизнь Микола ничего подобного не видел, А тётка Катерина Пояркова, ходит вдоль ребятишьего стола, гладит всех по головам, приговаривает: «Кушайте, касатики, кушайте, родимые». Старушки за другими столами кончиками платков утирают слёзы, молятся на передний угол. Кладбища Микола не страшился, но и в этот раз не собирался. Теперь уж когда дедушку Егора понесут, говорят, что старику пора. Вчера Микола слышал от матери: – «Татарник расцвёл, ягоды должны быть в лесу». Пошёл за соседом Мишкой. Бабка Мишкина на подворье не

пустила: «Иди, гуляй, Минька пузом мается, не до тебя ему». Незадача. Потянул к лесу один. Ягоды что-то не попадались. Зато муравейников уйма. Муравьи увлекли Миколу. Копоятся и лезут, бегут куда-то, упираются что есть мочи, таща всё, что ни попало, бросают ношу и вновь хватаются за неё. Удивительные животные! Микола взял прутик и пошевелил высокую аккуратную горку муравьиного жилища. Из неё по сухим хвойным иголкам покатались какие-то белые шарики. Что тут началось! Как по команде, всей нестройной армией муравьи кинулись собирать эти белые шарики, и карабкались, лезли в разные стороны. На другой муравейник Микола решил помочиться. Откуда-то изнутри, как на крыльях, муравьи стали вылетать из своей шевелящейся норки. Миколу это расстроило. А как же они живут в дождик? Задумавшись, он огляделся вокруг. В высо-ких соснах и берёзах рокотало солнце. И все деревья как бы раздвоились в Миколиных глазах: и под самым небом шумят, и чёрным сплетеньем, лёжа на земле. И сразу какой-то чёрно-белый страх одиночества обволок Миколино сердце. «Мама!» – завопил он и быстро-быстро построчил по едва приметной стёжке. Этот бег с обильными слезами и отчаянием он запомнил навсегда. Его смертельно поразило то, что берёзы и сосны тоже побежали, закружились, путая все следы. Лес превратился в чёрно-белую метель, сердце билось у самого горла. Наконец, он спотыкнулся и, как подкошенный, упал ничком в высокую полынь. Стало тихо-тихо, и только у самого уха беззаботно трещал кузнечик. Уцепившись за полынные дягильки, Микола осторожно поднялся на локотки. Он лежал на кладбище, рядом с крестом дяди Порфирия. Как вода в песок, чувство одиночества и страха медленно уходило из него. Поднявшись, Микола побрёл между могилами и крестами. Всё здесь было своим и привычным. Вечером он рассказывал и выговаривал матери: «Обманула ты ме-ня, маманя, татарник расцвёл, а ягод почему-то нет. Я ведь нынче ходил в лес, заплутался. Страшно стало, как в бане без лампадки. Ладно на кладбище попал, прямо к кресту дяди Порфирия». Мать тогда разволновалась, всполошилась, а Миколу было невероятно весело. И чего люди боятся кладбищ? Все, кого туда отнесли, оставались для Миколы как бы живыми. Он хорошо их помнил и не удивился бы, если та же тётка Аграфена завтра стала выманывать из их ватаги внука Витьку, чтобы заставить его полоть в огороде грядки. А дядя Порфирий? Золотой был человек, а уж балагур какой! Сидит, бывало, на завалинке, обязательно спросит: «Куда это вы, мужики, направились?» «Рыбу удить», – ответит Микола. «Гляди, пострел, как бы тебе пескарь стручок не откусил». Под конец командировки купил Микола жене и дочери по сирене-вой, искусно выбитой сорочке. Знал, что покупки им понравятся. Замечал он, приобретут они что-то новенькое из подобных вещиц, на-пялят на себя и защебечут. Да и то дело, не будет Вика-Виктория шипеть, что всё на вино ухлопал. А то ещё и взбеленится, что из чужого города (тут уж не дознаешься) взял, да и послал денег матери. Жена и дочь встретили Миколу тихо, радостно, видать, подарками ублажил.

А в душе по-прежнему какая-то беспокойность ютится. Антонина до полуночи где-то пропадала, домой возвращалась, крадучись. Микола сказал Вике-Виктории: «Что-то Тонька подолгу гуляет. Гляди, как бы не облапошили девчонку». «Да что ты, Коля, у подружек это она». А сама всё поближе к Миколу, поласкаться хорошеет. Что с ней произошло, не понятно. Встретил Микола ольховского мужика, дальнего родственника Ивана Пыльнова. Жил он где-то на Севере, как оказался здесь, неизвестно. Разговорились. «Да, время летит, – рассуждал Иван, поджидая вместе с Миколой трамвай. Вот и нам уж скоро по полусотке будет. Ты, говорят, весной мать свою похоронил». Миколу как будто обухом по темечку двинули, в глазах потемнело. «Да ты что, Иван, кто это накаркал?» «Вот тебе крест, Коля, – Иван для чего-то приложил ко лбу свою широкую ладонь. – В Ольховке я только что был, тётка Марья Пестова сказывала». «Враки это, жива-здоровая моя мать», – почти прошептал Микола. «Ну, Николай, ты уж прости, извиняй, если что не так, только в уме я, не пьяный, что тогда, что сейчас... Да, да, Николай...» Иван спешно поднял рюкзачок с земли, кинул его на плечо и торопливо зашагал вдоль трамвайной линии, всё время, оглядываясь на Миколу. «Вот тебе жисть, вот и кренделя в ней...» Микола шёл летним полем и всё думал. И ничего стройного, ничего такого, что можно было бы каким-то краешком приложить к душе. Так, роится что-то в голове, копошится, как в том муравейнике из детства. Значит, мать умерла весной, и может быть, в коренное водополье. Припоминалось, что об умерших в эту пору в Ольховке говорили: «самый несчастный человек». И несчастье такого человека заключалось в том, что по пути на кладбище никак нельзя было миновать овраг, что за домом Миколы. Весной по оврагу бешено мчались талые воды, и мужикам приходилось проявлять немало выдумки и смекалки, чтобы чинно (избави бог, без посрамленья) переправить гроб с покойником через этот овраг. Выходило, что мать Миколы попала в разряд самых несчастных людей. И не успокаивала та постыдно-спасительная мысль, что поверх земли ещё никого не оставили. Правда, на войне, наверное, и бывало такое. Вот, например, отец. Могло ведь случиться так, что его не успели, не смогли друзья придать земле. Микола никак не мог понять, какое поле пред ним – озимое или яровое? То ли разучился различать хлеба, то ли в душе всё пошло кувырком, но одно он заметил: у дороги пашня была ухожена из рук вон плохо. Семена в неё вроде бы и ровно положили, а вот ростки поднялись хиленькие, одинокие какие-то, с колосками, как синюшные губы у старушки. И сам себе Микола показался бледненькой былинкой. А ведь у человека, должно быть, пожалуй, по-другому. Если уж тебя пустили на свет, дали возможность прорасти, то будь добр, постарайся и сам, чтобы светло было кругом, плечам просторно, чтобы колос твой зернистым был. Нет, не вышло так, и кого винить?.. И снова в глазах вставала мать. Где же она брала силы, чтобы совладать с непомерной тяготой военных лет? И как это она умудрялась каждый вечер приносить из поля миску овсяной каши? Уплетал её тогда Микола и не ведал, что весь день

у матери во рту и маковой росинки не было. В родной Ольховке Микола остановился у соседа Михаила Грачёва, друга детства. Ещё в дороге обдумал Микола, что сотворят они с Михаилом на могиле матери ограду, ведь сосед был на всю округу редким по нынешним временам искусным кузнецом-самоучкой. Но и тут получилась запятая. Они сидели за столом в передней и, не торопясь, выпивали. Михаил прихватывал рюмку обрубками большого пальца, и мизинца на левой руке, опрокинув её, этой же рукой кидал в рот ломтик свежего огурца и прятал, сутулясь, свои культы между ног под столом. Кроме двух, и то усечённых, пальцев на его руках не было. Обморозился в прошлую зиму по пьянке, всё по здоровое врачи, понятное дело, отняли.

– Как это случилось? – спросил Микола сидевшего в какой-то виновато-скрюченной позе Михаила.

– А ты его, Николай, не пытай, – встряла в разговор жена Михаила Елена, – а то он сейчас расклюнется и раскиснет. Ты лучше сам скажи, как это твоего адресочка не оказалось у тётки Насти, весь дом перерыли, ничего не нашли, и телеграмму послать некуда.

– Да знает мать, где я живу.

– Она-то знала, да мы не знали, — почти укорила Елена.

– В том-то и дело, что адрес у неё есть, – сокрушённо ответил Микола. – Я ведь дома такой скандал устроил, такой скандал, что и не знаю, как дальше стану жить. Узнал я от Ивана про мать, чуть с ума не сошёл. За глотку схватил свою бабу, а она бедная, глаза выпучила, сама белее скатерти, и христом-богом клянётся, что ничего не знает, что никакой телеграммы не было. Говорит, что чуяла что-то неладное, даже на завод ходила узнать, как я там на Урале. Я на почту метнулся, там ведь какие-то следы от телеграмм должны оставаться. Ну, думаю, зверь-баба, тут уж ничего не скроешь, конец тебе пришёл. А на почте ничего не оказалось. Виктория моя пластом лежит, ревет, причитает. Мол, была у нас жизнь неустойчивой, ну и что из того, что на мать серчала по пустякам. Но уж чтобы такое... Обидел. Конечно, обидел.

– Живого обидел, живой и простит, а вот как с мёртвым быть? – Елена горько покачала головой. – Вот он тоже, дружок сидит. Бывало, собутыльники его науськают, кулачишками машет, вдарить норовит. А как руки-то окоротились, притих. Еленой Петровной стал меня величать. Эх, мужики, кривые вы какие-то пошли, как сучки на сосне в степи. А всё оттого, что не знаете, как детей рожать да растить. Переспал с бабой и доволен, что перед и зад у ней кругляшом пошли. А баба, она с потехи в разум входит, стёжку свою берёт. Я вон всё гляжу, как гусыня своих мальцов к речке ведёт. Всё гогочет да оглядывается, как бы коршун не накрыл. И невдомёк ей, краснолапой, что подрастёт вот этот цыплёнок да в глаз ей и клюнет.

– Ты наговоришь тут, человеку и так не по себе, – совестясь, сказал Михаил.

– Эх, Николай, а ведь тётка Настя мне как мать родная была. – Растроганная Елена не могла остановиться. – Саньку своего, ещё ма-ленький был, отшлёпала, как-то, а она мне и говорит: «Ты, Ленушка, не бей его, затаится

только, хуже будет, я, говорит, своего Колюшу никогда не трогала». – А всё-таки есть мой адрес у матери, давайте сходим к нам, я найду» – предложил Микола.

Был поздний час, Ольховка спала. Михаил дал Миколу китайский фонарик, и все трое в густой ночной темени пошли в дом Гараньковых. Тусклый свет фонарика, видимо, доставал до окон, и Миколу показалось, что в его избе что-то горит. По всему телу мороз волной пробежал. Вдруг Микола наткнулся на какое-то препятствие. Под его ногой что-то треснуло. Это переломилась жердь и упала в бурьян, шелестя им. Крыша, потеряв опору, закрипела всем своим старьем, как будто охнула. Микола, Михаил и Елена оторопели вмиг, остановились, как вкопанные. – Подмога рухнула, – сказал, переведя дыхание, Михаил. – Давайте вернёмся, утром сходим, – Елена явно забоялась. – Да ладно вам, напугались, – подбадривал Микола, а сам никак не мог ухватиться дрожащей рукой за скобу низенькой двери. Дверь тоже издала знобящий протяжный скрип. Свет фонарика выхватывал из тьмы то тот, то другой угол в тенетах, и Микола не узнавал своей избы. А ведь в ней ему были знакомы каждая щель, каждый сучочек. Сейчас же всё показалось таким размытым и далёким, что не верилось, что в этой избе он когда-то жил, постигая премудрости белого света. Но можно ли было отречься от этой щербатой скамьи и стола, от полатей и печки, от пучка каких-то трав, висящих в сереньком мешочке под иконой?.. Здесь были берег и пристань не только его детства, но и всей жизни. В гневе и страхе, в радости и горе он всегда спешил сюда и находил спасение и ласку, совет и любовь. Даже в годы, когда Микола сам обзавёлся семьей, в полудрёме и в минуты забытья он всегда в своей неизбывной памяти шёл к родному порогу, на котором ждала его мать.

Бывало, когда, кругом лежат ещё ослепительные снега, на припёке у ворот появится небольшая лужица, напьются из неё с особым удовольствием куры, и мать скажет: «Ну, коль на Алексея курочка попила, значит, просо уродится». И ведь верно, осенью они с матерью ели пшённую кашу. А вот Тонька, дочь его, этих примет, поди, не будет знать никогда. Не испытает она никогда и того ликования, с каким встречали Микола, Михаил и Елена в детстве первую красную корову, входящую во главе стада вечером в село. Встречали и говорили, что завтра будет тёплый день с ярким солнышком. – Ну чего ж ты, ищи, – подтолкнула Елена задумавшегося Миколу. – Свети на печку, – сказал он ей, ухватившись за задоргу. Так в некоторых сёлах называют брус, без которого, особенно малышам, трудно забраться на печь. Задорга не выдержала Миколу, сорвалась с опор, и он едва не опрокинулся на пол. И снова все немножко испугались. На печи Микола возился недолго, слез с каким-то свёртком в руках. Порвав зубами суровые нитки на свёртке, размотал чёрную тряпицу. В ней оказалось несколько истлевших на изгибах бумаг. Микола знал, что это были метрика матери и два отцовских письма с фронта. Сверху лежал уголок от тетрадного листка, на котором карандашом было коряво написано: улица Южная дом 26

Утром Микола собрался на кладбище. Михаил хотел пойти с ним, но Микола его не взял. Перед ним и Еленой стыдно ему было за всё. У кого такое ещё случалось в жизни? Нет, подобного Микола не знал. Зимой прошлого года умер в соседях глубокий старик, так его не хоронили дня четыре, ждали старшего сына, который с крайнего Севера никак не мог вылететь из-за плохой погоды, и всё слал и слал телеграммы с просьбой подождать. День был похож не осенний, накрапывал мелкий дождичек. С полей и из леса тянуло тонким запахом запревающих на корню хлебов, млеющих нескошенных трав. Микола остановился возле своей избы. И вновь его поразила ветхость и убогость родного гнезда. Снова он никак не мог представить себе, что когда-то всё это было для него живой и сказочной страной. Чего здесь только ни было! Здесь они с Мишкой играли в войну, пировали возле чугуна с медовой запаренной тыквой, кормили кур и голубей, ладили трёхзубые остроги и ходили с ними на окаянных лягушек. Микола хотел было ещё раз заглянуть в избу, но не решился. Оглядывая высокую крапиву у калитки, просевшую крышу с зелёными шапками мха, он пытался понять, что же с ним произошло на самом деле. И ему казалось, что он почти доходит до сути. Доходит, но никак не может соединить все приходящие мысли во что-то единое, целое. И были эти мысли как те борозды, когда он самостоятельно пахал за кладбищем. Лошади тянули в разные стороны, плуг всё время выскакивал ИЗ борозды. И тогда пришла к нему на загонку мать. Поглядела на пашню, похвалила, что хорошо у него получается, а чтобы и бригадир остался доволен, взялась ему помочь. Переменили они в постромках лошадей, чтобы бороздой шёл не так уставший Воронок, как-то по-своему пристегнула мать к удилам вожжи, понукнула легонько коняг, и уже на втором проходе пашня выровнялась, пласт на пласт легли, как края на пироге, который в праздники узорчато-красиво делала, мать. «Вот так, сынок, надо, ну, да ничего, научишься в пору, ты у меня смышлённый». Нет, не научился Микола, пахарскому делу. Сбил его тогда с до-троги Петька Звонок. Был такой сверстник в деревне, оборванец, за-бияка и воришка. Вечно шлялся по улицам да приглядывал, у кого что плохо лежит. Уговорил он Миколу податься в город, в ремеслуху. Чего, говорит, нам в Ольховке делать, глядишь, сопли подберём, к плугу поставят или кнут дадут, и майся тут ни за понюшку табаку. А в ремеслухе весело, по вечерам танцульки. Провожали их в город торжественно, даже кобылу до станции выделили. А председатель колхоза как с крыльями за спиной носился! Ещё бы, ведь с него постоянно требовали, чтобы направлял ребят в фабрично-заводские училища. Страна восстанавливала загубленные войной города, стройкам дозарезу нужны были рабочие руки, а кто это с лёгкой душой отправит своего парнишку в неведомые края? Убеждал и упрашивал председатель пацанов и родителей, что надо, а тут добровольцы объявились. Мать Миколы несколько раз падала в обморок. Вдобавок, как назло, Степанида Козлова, зудела под ухом: «Ивановна, не отпускай ты мальчика, пропадёт, молоко ведь на губах-то.

Звонкам всё равно, где небо коптить. У кого лебеда в огороде, как лес, стоит, знай – не человек» Председатель все вопли и причитания перекрывал своим зычным голосом: «Бабы, не мочите передники, понимать надо, парни идут поднимать страну из руин». Миколу было жаль покидать мать, Ольховку, но слова, председателя какой-то сладкой фантазией поселились в его мальчишеской душе, и он нетерпеливо подталкивал в бок дядьку Егора, приставленного к ним сопровождающим, чтобы быстрее трогал лошадь. Тётка Степанида Козлова оказалась права: Петька Звонюк вскоре из ремеслухи сбежал, весёлая жизнь с танцульками ему пришлась не по нутру. А Микола перенёс все тяготы нелёгкой учёбы и жизни, тосковал по дому, несколько раз за эти годы навещался в Ольховку, даже матери подарки маленькие привозил. А потом молодые годы закружили, завертели в своём водовороте, в деревню он уже приезжал крепким, возмужавшим. Надевал бостоновый костюм и шёл на шумевшие тогда по сёлам вечеринки, на которых девчонки, особенно перезревшие, были в ласках нетерпеливы, и женская сила валила из них валом. Микола хотя и храбрился среди них, но дальше дело не шло, характер не позволял. Вика-Виктория в заводском общежитии стала для него первой и единственной женщиной, обнажённые плечи которой невероятно светились в темноте. И после было покаянное письмо к матери с непонятно откуда возникшими мыслями про Нюру Боровкову, которую он два или три раза всего-то проводил в Ольховые до её калитки.

Вспоминая всё это, Микола дошёл до того самого оврага, который по веснам чинил препятствия усопшим его землякам на последнем пути туда, к тихим крестам. Поперек оврага лежала довольно широкая плотина с заложёнными под ней бетонными трубами. По краям плотины рос сплошной подорожник с травой-муравой, значит, материну домовину пронесли здесь спокойно, без тревог за переправу, не так, как в те времена, которые остались в Миколиной памяти. Выходило, что напрасно думал он о матери, как о самом несчастном человеке. Вешняя вода совсем не помешала ей отправиться на вечный покой, и добрые люди нашлись, похоронили, как положено, по древнему русскому обычаю.

И всё это, как казалось Миколу, должно было успокоить его, но успокоение не означало даже, а сердце ныло и саднило так, как саднила в детстве рука, когда его на речке ущипнул свирепый и большой, как белое облако, гусь. Сейчас он почти, что воочию представлял себе всю Ольховку, идущую молча и медленно за гробом матери, и среди знакомых лиц не видел только одного лица, своего.

А как же он виделся матери в тот последний и никем ещё не познанный миг, когда закрылись её глаза? Елена рассказывала, что она часто навещала её в дни болезни и говорила ей не раз, что надо бы вызвать его, Миколу, на что мать отвечала: «Не беспокой ты его, Ленушка. Не срок ещё мне, вот поправлюсь и уж умирать поеду к нему, а как же, ведь он у меня единственный, кому как ни ему похоронить меня». Рубаха под пиджаком

прилипла к плечам Миколы, в ногах как-то сразу появилась немощь, и он присел на обочину дороги под невысоким кудрявым дубком. Мелкие капельки дождя часто-часто стучали по листьям дубка, над головой Миколы стоял от этого грозный и тихий бисерный шум. Рядом в лес убегала еле приметная тропинка. Пожалуй, это была та самая тропа, которая заблудила Миколу в детстве. И снова, как тогда, ощутил он под ложечкой горьковатое ядрышко страха. Страх и одиночества. «Надо было взять с собой Михаила»,  
– подумал Микола.

И ещё он подумал: а как же одна и почти всю жизнь прожила мать? Нет, одному нельзя на белом свете, Микола не знал, что над этим вопросом всегда бились люди, он не ведал, что об этом написано немало старых и новых книг, но он хорошо помнил рассказ учителя-фронтовика, потерявшего на войне правую руку. Как-то постучав мелком по доске (учитель говорил, что он очень устаёт от такой писанины), Фёдор Александрович опустил на стул передохнуть. В та-ких случаях он обязательно о чём-нибудь рассказывал. Направили его в Ольховку учить их, ольховских ребятишек. А от станции до Ольховки путь неблизкий. Харчи были неважные, шёл-шёл, к вечеру выбился из сил. Решил заночевать прямо в степи. А была осень. Вспомнил он, как с отцом и матерью, с другими крестьянами ночевал в поле. Сожгут, бывало, копну соломы, сметут пепел и ложатся на месте кострища. Земля горячая, как кирпичи на только что натопленной печи. Так и отдыхают, и спят в удовольствие до зорьки. Учитель сделал точно так же. Поначалу на прогретой земле было чистое блаженство. Но вскоре почувствовал холод. И так и сяк подтыкал под себя шинельку, а всё равно зябко. Остыла под ним земля. А почему остыла, спрашивал учитель ребят и сам отвечал: потому что был один. Вчера вы, говорит, ни за что, ни про что Володю Субботина отлупцевали, а это плохо. Живите дружнее, плечо друга и поддержит, и согреет.

...В глубокой отрешённости стоял Микола у крепкого дубового креста, к которому была прикреплена некрашенная дощечка с выжженными на ней датами рождения и смерти Гараньковой Анастасии Ивановны. Могила была хорошо ухожена, на бугорке рос неизвестный Миколе цветок. Его высадила Елена. Омытый тёплым дождиком, он набирал цвет, и вот-вот должен был распуститься. Микола зачем-то хотел оборвать тугой свёрток бутона, но рука остановилась  
сама.

Весь отпуск у Миколы был ещё впереди, но дольше он не мог оставаться в Ольховке. Душе, чувствовал он, необходимо какое-то время, чтобы устояться, чтобы что-то такое, чему и названия подходящего не было, всплыло и отсеялось. Но и это, казалось, было уже не главным. Микола думал о жене. Приедет он в город, домой, расскажет, конечно, правду обо всём. Как умерла мать, что говорила накануне смерти, почему не прислали ему телеграмму. И что же будет тогда?.. От этих мыслей на всём пути голова шла кругом. На трамвайной остановке, возле автовокзала, его кто-то подтолкнул по-свойски. Это был Женька Семенов из механического цеха. Пили разок с ним горькую.

- Здорово, Микола! Ты, я слышал, в отпуске?
- Да, в отпуске, – ответил Микола.
- И я вот тоже гуляю! – от Женьки тянуло свежачком. – Знаешь, в деревне был у тестя. Вот где житуха! И соленья, и варенья. Тесть для меня первачу всегда готовит. Сначала яблочную настойку делает, а потом уж её в агрегат. Поверь, горит, проклятая!
- Микола слушал и не слышал дружка, а глаза так и заволакивало слёзным туманом.
- А ты где отдыхал? – спросил Женька.
- В деревне, у матери, – сказал Микола со срывающейся хрипотцой в горле. Женька на мгновенье задержал свой весёлый блуждающий взгляд на изменившемся лице Миколы.
- Да ты что? – резко хлопнул он Миколу по плечу.
- Да так, ничего. Растрогал ты меня. Верно говоришь.